

Леонид Андреев

**«Когда мы, мертвые,  
пробуждаемся»**



**Леонид Николаевич Андреев**  
**«Когда мы, мертвые,  
пробуждаемся»**  
Серия «Театральные очерки»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2806575](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2806575)*

**Аннотация**

«Я не хочу сегодня говорить о городских избирателях, которых обучают, подобно екатерининским инвалидам, отличать правую руку от левой, ни о выборах в Городском Кредитном Обществе и г. Шмакове. Не хочу я говорить ни о сумасшедших, пойманных на улице, ни о подкидышах, ни о покойниках, ни о юбилярах, ни о многих других прекрасных и назидательных вещах, вызывающих на размышление пытливый человеческий ум»

# Содержание

# Леонид Николаевич Андреев «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»

Я не хочу сегодня говорить о городских избирателях, которых обучают, подобно екатерининским инвалидам, отличать правую руку от левой, ни о выборах в Городском Кредитном Обществе и г. Шмакове<sup>1</sup>. Не хочу я говорить ни о сумасшедших, пойманных на улице, ни о подкидышах, ни о покойниках, ни о юбилярах, ни о многих других прекрасных и назидательных вещах, вызывающих на размышление пылкий человеческий ум.

На днях я видел драму Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»<sup>2</sup>, сейчас, в ту минуту, как я пишу, до меня доносятся тихие звуки гитары и молодые голоса: то студенты собрались в соседней квартире и поют... Они часто собирают-

---

<sup>1</sup> *Шмаков А. С.* (1852–1916) – присяжный поверенный, гласный Московской городской думы. Монархист и черносотенец, которому Андреев, начинавший свою адвокатскую практику, демонстративно не подал руки. Впоследствии А. С. Шмаков был одним из инициаторов исключения Андреева из московской адвокатуры (как проживающего в другом округе).

<sup>2</sup> ...*видел драму Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»*. – Премьера пьесы в Московском Художественном театре состоялась 28 ноября 1900 г. Постановка Вл. И. Немировича-Данченко.

ся и часто поют одни и те же красивые песни, в которых много молодого задору и счастливой юношеской грусти; и часто от имени моих подкидышей и юбиляров приходилось мне проклинать тонкие перегородки московских квартир и молодые, красивые песни, застилающие розовым туманом голову и так больно вонзающиеся в сердце, словно каждое слово в них и каждый чистый звук – острая отравленная игла. Не знаю, сделались ли тоньше стены, или я сам жадно хочу чистых звуков, но особенно громко звучит сегодня песня – и вы не удивитесь, что о сердце буду я писать, бедном человеческом сердце, которое так недолго живет и так мучительно, так долго умирает.

Итак, я видел драму Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»... но, впрочем, после о драме.

Давно это было, давно. Я жил в городе, в котором есть природа, и отсюда понятно, что город этот не был Москвой. В том городе были широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно-недвижим, как отдыхающий турок; зимой его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного. Он высокими белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город. Точно с перелетными птицами улетали все звуки на юг, и когда двое людей встречались и разговаривали на улице, голоса их звучали так одиноко и стран-

но. У нас, в Москве, даже зимой, даже ночью нет тишины. Жизнь миллиона людей пробивается сквозь стены на улице, и вечный неуловимый шорох ли, трепетанье ли, вздохи ли проносятся в пространстве и делают его живым и беспокойным. Войдите поздней ночью в какой-нибудь глухой переулок, станьте неподвижно и закрыв глаза – и вы услышите дыхание бесчисленных грудей, биение сердец, шорох и во сне работающей мысли. Так никогда не бывает тишины в комнате, где спит человек, как бы тих ни был его сон, и так никогда не бывает громких звуков там, где лежит мертвец. Одиноко и странно звучат голоса в комнате у мертвого.

Мертвенно-тихо было и в том городе, где лежал белый снег. Жизнь замирала в занесенных снегом домах, и когда я утром выходил на улицу, мне чудилось, что весь мир окован безмолвием, и до самой дальней линии, где белое небо сходилось с белой землей, не встречал слух препятствий. Казалось, стоит вслушаться внимательнее, и ухо может уловить то, что говорится на другой стороне земного шара. И только раза три в день нарушалась эта мертвая тишина. Один за другим медленно и спокойно выплывали из белой дали звуки церковного колокола, одиноко проносились в немом пространстве и быстро угасали без отзвука, без тени. И я любил слушать их в вечерний сумеречный час, когда ночь тихо прокрадывалась в углы и с мягкой нежностью обнимала землю. Дерево, бывшее в двух шагах от меня, было видно еще отчетливее и яснее, чем днем, но уже тотчас за ним начина-

лась тьма, призраками делала следующие деревья, а в окне уже горел спокойный теплый огонь, и звуки один за другим одиноко падали на землю и быстро, без тени и содроганий, угасали. И я старался понять значение и смысл таинственных звуков, и мое ребячье сердце видело в них ответ на что-то такое, что еще не ясно было мне самому, что еще только зарождалось в глубинах души.

И однажды показалось мне, я понял значение и смысл таинственных звуков, родившихся и умиравших в белом и немом пространстве. Это было в тихое, немного морозное и ясное утро. Быстрые коньки уносили меня за город, и уже последние кресты церквей, горевшие на солнце, скрылись за изгибами неширокой реки. Под собой я видел гладкий темный лед с блестящими пузырьками воздуха, замерзшего в середине; ухо мое наполнялось звуком разрезаемого коньками льда и свистом бегущего воздуха, и я быстро несся вперед, все вперед, и минутами словно крылья чувствовал у себя за спиной. И когда я наконец остановился и взглянул победоносно на пройденный путь и окинул глазами реку, берег и небо, – я был поражен торжественной красотой того, что было вокруг меня. Торжественно и глубоко-спокойно, как державный мертвец, молчал высокий белый берег, и еще более высокое, бесконечно-высокое молчало голубовато-зеленое небо. Ослепительно сверкал снег, и кротко сияло небо, – и только снег и небо были вокруг меня. Ни призрака, ни хотя бы самого отдаленного намека на жизнь. И жутко, и покойно,

и радостно было, как в светлом храме, и только благоговением могу я назвать то чувство, которое всеильно охватило меня, сковало дыхание и сделало немым, как и все вокруг. Долго стоял я так и «слушал тишину», и, вместо покоя, непонятный и дикий страх начал закрадываться в сердце. Мне казалось, что все уже люди умерли, и умерла сама земля, и я один остался живой; и с возрастающим страхом искал я вокруг себя чужой жизни, и если бы в ту минуту проползла букашка или червь, или вспорхнула птица, или забрехала в отдалении собака, я обрадовался бы ей больше, чем радуюсь теперь приходу друга или голосу любимой женщины. Но не вспархивала птица, не проползал червяк, и словно чьи-то мертвые, немигающие, страшно пристальные очи смотрели на меня, маленького и одинокого, высокий берег и высокое небо – и молчали.

И я закричал громко и пронзительно, как испугавшийся ребенок, но не закрыл я еще рта, как уже не было звука – будто только во мне раздался он. И от этого стало еще страшнее. Теперь уже сам я казался себе мертвым и не верил, что я могу двигаться и могу через полчаса покинуть эту мертвую белую пустыню, – и я стоял неподвижно на своих потерявших резвость коньках и закрывал лицо шерстистыми перчатками, готовясь не то заплакать, не то и взаправду умереть. А вокруг все было неподвижно и немо.

И тут, в эту минуту дикого страха, неведомо откуда прилетел ко мне далекий веселый звук церковного колокола. В



городских церквах начиналось воскресное служение, и все колокола звонили. И при первом далеком ударе я отнял от глаз погружавшие их в тьму шерстистые перчатки; при втором я осмелился оглянуться вокруг себя, а при третьем – рассмеялся.

Там люди! Милые, хорошие, живые люди!

Это люди звонят в колокола там, за высоким снежным бугром; это они собрались сейчас в церковь, или сидят пьют чай, или еще только протирают заспанные глаза; но, что бы они ни делали и где бы они ни были, они все те же милые, хорошие, живые люди. Они зовут меня к себе из этой ледяной пустыни, и я помчусь сейчас к ним, потому что я люблю их. Я брошусь в их объятия, и прижмусь к их теплому сердцу, и буду целовать их светлые, говорящие глаза. И если те глаза плачут, я поцелуями осушу слезы или сам заплачу с ними, а если они смеются – пусть звонкий смех мой радостью вольётся в их сердца. Я расскажу им, как я боялся в этой пустыне, под взором белых мертвых глаз, как белым саваном окутало меня безмолвие – и мрак шел в мою душу от шерстистых перчаток. Они поймут меня, хорошие, милые люди, и мы вместе, живые, посмеемся над тем, что мертво. И я помчусь к ним, потому что я люблю их, потому, что я не мертвый и повинуются мне быстрые коньки мои: только воздух засвистит, а снежная пыль изовьется по следам, когда пушусь я в быстрый бег вперед: все вперед, к людям. Звоните же, призывные колокола.

Колокола звонили, и воздух свистел в моих ушах. Вперед к милым, хорошим людям!

Однако... однако я ведь хотел говорить о том, «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» – как далеко могут увлечь воспоминания! Итак, я был на первом представлении означенной пьесы и, как и все бывшие в театре, задавался вопросом, кто такое или что такое – эта загадочная Ирена. Я чувствовал то недоумение, мучительное и тяжелое, которое волной разливалось по зрительной зале, и сам мучительно допрашивал и себя и Ибсена: кто же эта загадочная Ирена? Вдохновение ли, покинувшее художника и при новой поздней встрече в развалинах нашедшее и душу и талант? Любовь ли это к людям, оставшаяся неоплодотворенной и жестоко отомстившая за то убийством и самоубийством и пробудившая мертвецов только на миг, только для того, чтобы сказать: мы никогда не жили? Сама ли жизнь наконец, требующая для себя не созерцания только, а полного обладания, жаждущая не только видеть свое изображение иссеченным в мертвом мраморе, но творить живых детей? Грозная ли это совесть, отринутое ли божество, имеющее свой алтарь в каждом человеческом сердце?

Кто же Ирена? И я искал ответа и, кажется, нашел его. Я знаю, что он не будет убедителен. Более того, он будет, пожалуй, смешон. Ирена – это Ирена.

Странное явление. Почти все признают ибсеновский эпилог символическим произведением, и почти все требуют:

объясните мне, что это значит, и притом объясните покороче. Постарайтесь даже одним словом объяснить: Ирена, дескать, это то-то; Майя – то-то. Думают, что символ – это что-то вроде домино: снял домино – и под ним знакомый Иван Иванович или друг Петр Петрович. Полагают, что символическое произведение – это что-то вроде веселенького домашнего маскарада: кто козой наряжен, а кто монахом, но к ужину всё снимут маски, и тогда к общей радости окажется, что коза – это Марья Петровна, а монах – вечный шутник Иван Иванович. Глубоко убеждены, что символами художник хотел только подразнить любопытство и помучить, а если прийти к нему и по чести его попросить: г-н Ибсен, растолкуйте мне, пожалуйста, что это за ахинею вы написали, то г. Ибсен сейчас все так по пальцам и разложит. И если им сказать, что Ибсен так же компетентен растолковать свое творение, как и я, они даже засмеют: помилуйте, сам писал, да растолковать не может? Да, именно не может.

Люди пишут романы не потому, что хотят писать именно романы, а коли случится, то могут такую же хорошую статью написать, а потому, что мыслят они образами, живыми представлениями, а не понятиями. Попробуйте заставить такого писателя, гениально-умного, когда он мыслит образами, написать рассуждение – и любой гимназист восьмого класса побьет его. По той же причине пишут люди стихами, хотя, как давно известно, прозой писать несравненно легче. По той же опять-таки причине появляются время от време-

ни художники-символисты. Символами, и только символами могут они выразить свое миропонимание. Разве на самом деле Ибсену так уже хотелось, чтобы люди, для которых он пишет, ошалевали над его произведениями, вместо того, чтобы понимать их и сочувствовать его горю и его радости? Только образом Ирены мог выразить Ибсен то, что творится в его душе. И опять вы засмеетесь, когда я скажу, что лучше всех понимает Ибсена тот, кто, чувствуя его Ирену, совершенно не способен растолковать ее, ибо это значит, что он мыслит и чувствует, как сам Ибсен.

Повторяю: Ирена – это Ирена. Не пробуйте называть Ирену старым словом: как бы удачно оно ни было, оно будет далеко от истины; не старайтесь втиснуть Ирену в узкие рамки формальных понятий вдохновения, жизни, любви и прочих Иванов Ивановичей. Быть может, все эти знакомые понятия только стороны Ирены, часть ее, а вся она в своем целом есть нечто совершенно новое, большое, грозное, могущее жить в душе только такого великого художника, как Ибсен. Ирена – это маска, но маска, пришитая к самой коже и сорвать ее – значит убить, но не открыть.

У всякого из нас есть своя Ирена. Это то, не имеющее имени, всяким мыслимое и чувствуемое по-своему, что зовет его в горы, то любит, то покидает; то дает радость творчества, то грозно и мучительно упрекает. Оно живет в нас, но вечно для нас самих остается символом, загадкой, тем, что мы чувствуем, но чего мы не можем определить и в словах пере-

дать другим. И оттого даже сильнейшие, красноречивейшие из нас вечно и безнадежно одиноки. Ибсен увидел свою Ирену; силой таланта он дал ей образ и бросил его в яркий свет рампы, но и при этом свете она осталась той же загадочной, той же непостижимой, той же единым им мыслимой, какой она была и во мраке его души.

Вы спросите, зачем я привел рассказ о ледяной молчаливой пустыне и колоколе, который зазвучал так вовремя, так удачно? Не знаю. Быть может, я вспомнил свою Ирену. Разве это не правда, что медный колокол звучал под ударами тяжелого языка, а не ее милый голос звал меня из ледяной пустыни? По гладкому льду мчался я на ее призыв – вперед к людям. Ведь я тогда не понимал жизни. Быть может, и еще раз услышу я ее голос, и другое скажет он.

– Что непоправимо, мы видим лишь, когда мы, мертвые, пробуждаемся.

– Что же мы видим?

– Мы видим, что мы никогда не жили.

Однако уже поздно. Давно разошлись студенты, и умолкла за стеной их красивая молодая песня. Пора умолкнуть и мне.